

Т. Д. МУРАВЬЕВА-ЛОГИНОВА

ЖИВОЕ ПРОШЛОЕ

ВОСПОМИНАНИЯ ОБ И. А. И В. Н. БУНИНЫХ

Татьяна Дмитриевна Муравьева-Логина — художница. Происходит из рода Карамзиных (ее прапрадед был родным братом Н. М. Карамзина). Уехала учиться во Францию в 1920 г. Работала у Н. С. Гончаровой, М. Ф. Ларионова и у мастеров Парижской школы (Ecole de Paris). Свои картины подписывает: «Loguine».

Воспоминания о Буниных написаны для «Литературного наследства» в 1968 г. Рисунки, которыми они иллюстрированы, выполнены Т. Д. Муравьевой-Логининой в 1930-х — начале 1940-х гг. Впоследствии все они погибли и были восстановлены ею в 1968 г. для настоящего тома (из двенадцати рисунков, составляющих серию иллюстраций к «Живому прошлому», ниже публикуются восемь). Подлинники рисунков по желанию автора переданы в Государственный музей И. С. Тургенева в Орле. Туда же автор предполагает передать письма И. А. и В. Н. Буниных, книги с дарственными надписями писателя, фотографии и другие бунинские документы из своего собрания.

I

НАЧАЛО ДРУЖБЫ

1933—1939

В ПАРИЖЕ. ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО

Увидела я впервые Ивана Алексеевича на повогодном балу писателей в одном из больших парижских отелей. Шумно, весело встречали 1933 год!

Иван Алексеевич, очень моложавый, в смокинге, в белоснежной манишке, сидел за столом. Его окружали почитательницы — дамы в бальных нарядах. У него просили автографов. Только что выиграв в книжной лотерее книгу стихов Бунина, я расхрабрилась и тоже подошла к знаменитому писателю. Даже не взглянув на меня, он быстро подписал — «Ив. Бунин, 1. I. — 1933» — и взял следующую книгу.

Сейчас этот том: «Избранные стихи» (Париж, 1929) — передо мной на столе, а в памяти тот блестящий вечер.

С заглавного «Петуха на церковном кресте» —

Поет о том, что мы живем,
Что мы умрем, что день за днем
Идут года, текут века—
Вот как река, как облака...¹—

и со стихов 1900 года началось мое знакомство с Буниным-поэтом. Меня поразили эти стихи-картины! Резко красочные, яркие или нежные, пастельные картины сменялись, подчиняясь внутреннему ритму-напеву.

В ноябре 1935 года произошла настоящая встреча. Я вошла в помещение, где происходила выставка русских книг, для которой я делала плакаты. Было светло, оживленно, много народу. Писатели, студенческая молодежь, публика толпилась около разложенных книг.

Меня попросили сделать еще один плакат. Примостившись в углу, я стала старательно выводить черной тушью буквы ЕХРО...

— А что вы тут пишете? — раздался надо мной голос.

Я оглянулась: Бунин. Улыбающийся, насмешливый... Я смутилась.

— Да вот, плакат добавочный просили сделать, — и я, продолжая чертить буквы, пропустила ТИ — ЕХПОСИОН...

— Ха, ха, ха, — засмеялся Иван Алексеевич. — Вот так написала!

— Это вы меня смутили...

Досадно было ужасно — плакат испорчен — не знаю, как я из этой беды выкрутилась.

Бунин, не отходя, уже забрасывал меня вопросами:

— Да вы откуда? Где живете? С папой и мамой? Что делаете? Где родились? Когда приехали?

Вопросы сыпались. Это меня окончательно раздосадовало. Очень не люблю, когда начинается допрос...

— Не буду отвечать, что за вопросы, — сказала я твердо.

— Ах вот как! С характером, значит... Так вы, значит, художница... А я поэт, писатель. Ну что же, давайте встретимся, поговорим.

Я была очень польщена... свидание с Буниным.

— Хорошо, давайте встретимся, но когда и где?

Бунин второпях вырвал розовый билетик из книжки билетов метро I класса и что-то написал.

— Вот мой телефон — позвоните, непременно позвоните. Я буду ждать.

У меня сохранился этот билет и номер телефона — Aut. 17—88.

— Вот так встреча, — думала я, возвращаясь домой в Пасси, — какое неожиданное знакомство с Буниным.

Дня через два я не выдержала и позвонила — женский голос, немного трескучий, ответил: «Ивана Алексеевича?! — Ян — тебя». — «Это его жена», подумала я, стало неловко, забилося сердце — я чуть не повесила трубку. Но Иван Алексеевич был уже у телефона: — «Вы это? Очень, очень рад. Когда же? В Café de la Murette, завтра в 5 часов... Только не опоздайте!»

КАФЕ ДЕ ЛЯ МЮЕТТ

Мы сидим за столиком.

— Вы думаете, что я лет этак на 1000 старше вас? Милая художница, что бы я дал, чтобы быть в вашем возрасте. Чтобы все впечатления опять были новы, свежи, — чтобы впереди раскрывались необозримые дали... все впереди! Ах, люблю я простор жизни. Жизнь люблю — люблю любовь. Как люблю! А смерть ненавижу — ни за что ей не дам — не посмеет меня взять — подавится мной!

Иван Алексеевич смотрит на меня пристально и, как мне кажется, насмешливо. Смущаясь, я стараюсь перевести разговор на живопись; спрашиваю, каких мастеров французской школы он предпочитает. Но ему нужен только внимательный слушатель, подающий реплики. Редко кто умеет говорить так сочно, так по-русски!

Я начинаю с увлечением следить за тончайшими интонациями его голоса: певучий бас переходит в средние, а иногда и в высокие ноты.

— Мне кажется, что я живу действительно тысячу лет ... и не одну тысячу... Чувствую в себе всех своих предков. Бурлят, шумят они во мне — и дальше чувствую далекую глубь веков. Все корни мои, ушедшие в русскую почву, до малейшего корешка чувствую.

Говорил он так просто и откровенно, что мне не верилось, что рядом со мной — Бунин. Мне хотелось спросить его, как он пишет, что переживает в момент творчества, и наконец я отважилась:

— Может ли русский писатель жить и писать вне России?

— Да, иные не могут — если нет глубочайшей и ничем не рушимой связи с прошлым, кровной связи с Русью. А иные могут.

Иван Алексеевич вздохнул и глубоко затыкнулся папирсой. Курил он беспрерывно (окурками были наполнены и пепельница, и блюдечко), прихлебывая из стакана, чтобы согреться, горячий грог — ром с лимоном. Была холодная осень, на площади Ля Мюетт кружились по ветру сорванные с платанов листья...

— Я пишу по утрам. Все мои — да и вы наверно — упиваетесь утренним кофе, хрустите круассанами, — а я не могу этого. Ничего не ем, пока пишу до завтрака. Не могу оторваться, — а если пью, то только спиртное — горло промочить. — Кашлял он постоянно.

— Да, чувствую в себе всех предков своих... и дальше, дальше чувствую свою связь со «зверем», со «зверями» — и нюх у меня, и глаза, и слух — на все — не просто человеческий, а нутряной — «звериный». Поэтому «по-звериному» люблю я жизнь. Все проявления ее — связан я с ней, с природой, с землей, со всем, что в ней, под ней, над ней. И смерти я не дамся ни за что. Боюсь я ее — ох, как боюсь. Ну а теперь, идите с богом домой, милая художница. Вас ждут наверно.

Спохватившись, я посмотрела на часы: два часа прошли незаметно. Этот первый разговор — беседу Бунина я хорошо запомнила.

ЗНАКОМСТВО ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Так начались наши встречи. В ту осень Бунин звонил и звал посидеть в кафе. В нашем Пасси был художественный подвал — чайная, где висели и мои картины.

— Хочу вам показать — может, вам придется не по вкусу мои картины?..

Но И. А. одобрил и чайную, и картины: «Уютный подвальчик», — и, придя в хорошее настроение, много говорил, за всегдашней рюмкой, о поэзии и замечательно читал свои стихи.

— Я поэт, и больше поэт, чем писатель, я главным образом поэт.

Я думаю, что этим он хотел сказать, что поэзия и искусство составляют главную основу его творчества, и стихи и проза его — картины.

Мы ездили также на Елисейские поля в кинематограф.

— Редко бывают хорошие фильмы, а посредственные очень утомляют! — говорил И. А.

Как-то позвал ужинать с ним в скандинавский ресторан — есть «медведя» — так я в шутку назвала оленьи отбивные котлеты:

— Не могу этого вашего скандинавского медведя есть — в горло не идет!

— Как вкусно! — возразил он. — Я в Швеции научился есть и «медведя»!

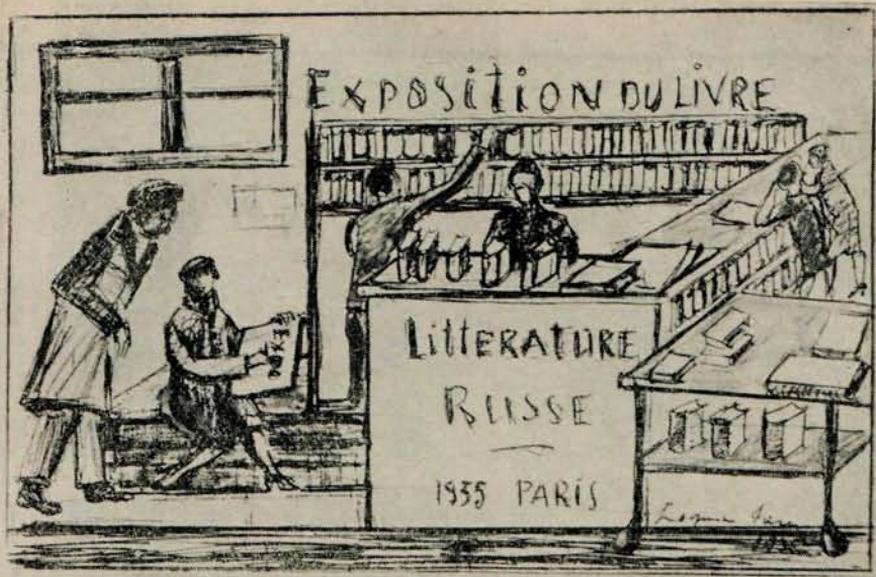
Темный, еле освещенный фешенебельный ресторан, скамьи с вышитыми подушками, оленьи рога, шкуры зверей... Вдруг очутились в Стокгольме!

— Не правда ли, воспоминания о том, как вас принимали в Швеции, как чествовали нобелевского лауреата, — ваши лучшие воспоминания?

Но И. А. не был честолюбив — и не любил об этом со мной говорить.

«Медведь», крепкий напиток — «не в коня корм»; я совсем не оценила шведские яства. Хотелось скорее на свежий воздух. Иван Алексеевич досадовал:

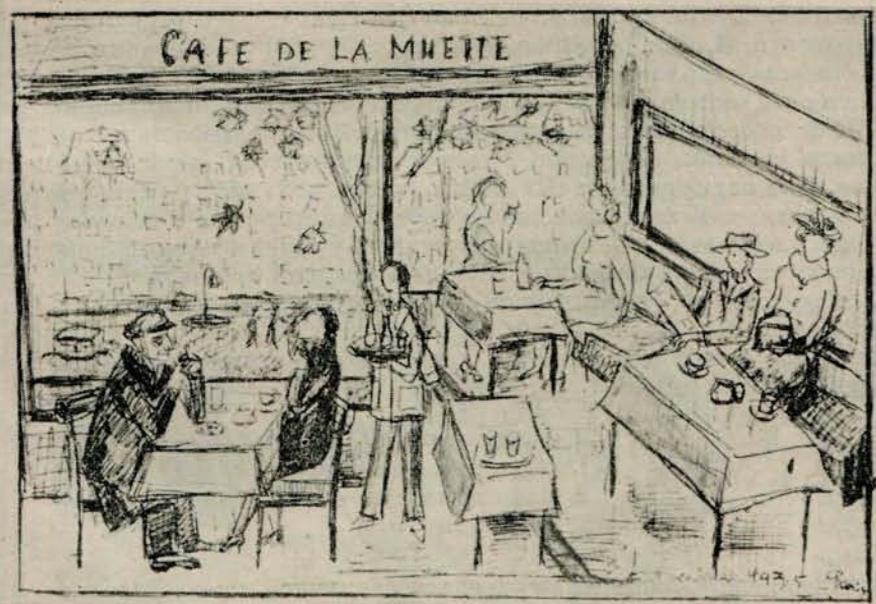
— С вами каши не сварить.



ВСТРЕЧА НА ВЫСТАВКЕ РУССКОЙ КНИГИ В ПАРИЖЕ

Рисунок (тушь) Т. Д. Муравьевой-Логиновой, 1935—1968

Музей И. С. Тургенева, Орел



В КАФЕ ДЕ ЛЯ МЮЕТТ

Рисунок (тушь) Т. Д. Муравьевой-Логиновой, 1935—1968

Музей И. С. Тургенева, Орел



НА НАБЕРЕЖНОЙ СЕНЫ

Рисунок (гушь) Т. Д. Муравьевой-Логиновой, 1935—1968

Музей И. С. Тургенева, Орел

Приходил Бунин иногда в ресторан Сен-Бенуа, где завтракали с Н. С. Гончаровой и М. Ф. Ларионовым и мы, ее ученицы. Наталия Сергеевна очень любила редкие появления Бунина, с увлечением разговаривала с ним, цenia его меткие реплики, язвительные замечания, искрящийся юмор. Был И. А. собеседником исключительным. После одного такого завтрака я сказала Наталии Сергеевне, что хочу попытаться нарисовать портрет Бунина. Она нахмурилась: «Не люблю, когда молодые художницы лезут к знаменитостям». Я пожалела, но не хотела ее огорчать, и сеансы так и не состоялись. Сделала по памяти наброски: Бунин и я идем по набережной Сены около лотков букинистов: Бунин в русской меховой шапке, руки в карманах; я в своем черном пальто; клубятся облака, — мосты, — Париж!

Делала я также иллюстрации к его стихотворениям. Особенно нравились мне, как он читал «Сон»:

И мчатся олени,
Глубоко и жарко дыша,
В далекие тундры спеша,
И мчатся их тени...²

Этих оленей я наконец нарисовала, так меня преследовал их ритм.

Однажды в ресторанчике испанском, который разрисовала испанками Н. С. Гончарова, устроили банкет в честь Бунина. Были и мы, ученицы Гончаровой. Тут познакомил меня И. А. с Верой Николаевной. Мы разговорились о живописи, о Гончаровой.

— Я Наташу давно знаю — учились вместе в гимназии Стоюниной в Москве — до старших классов. Только Наташа была старше и окончила раньше меня ... Прелестный человек она.

После банкета Наталия Сергеевна сказала мне:

— Если бы вы знали, Таня, какая Вера Бунина была красавица. Мраморное лицо, выточенное, огромные синие глаза. Нельзя было мимо пройти, не залюбовавшись. Первая красавица во всей гимназии...

НОВОГОДНИЙ БАЛ ПИСАТЕЛЕЙ

Опять Новый год, опять бал.

Вера Николаевна занята продажей в буфете. Я танцую с двумя кавалерами. В перерыве Бунин подсаживается к моему столику:

— Удивительных кретинов вы нашли.

— Не все ли равно с кем танцевать?

— Да они и танцевать-то не умеют, особенно этот ваш долговязый, с лошадиной челюстью.

Мысленно соглашаюсь с ним. И. А. особенно блестящ в этот вечер...

И вдруг:

— Давайте бежим. Бежим из Парижа!

— Как бежим? Куда?

— Ну в горы, в снега ...

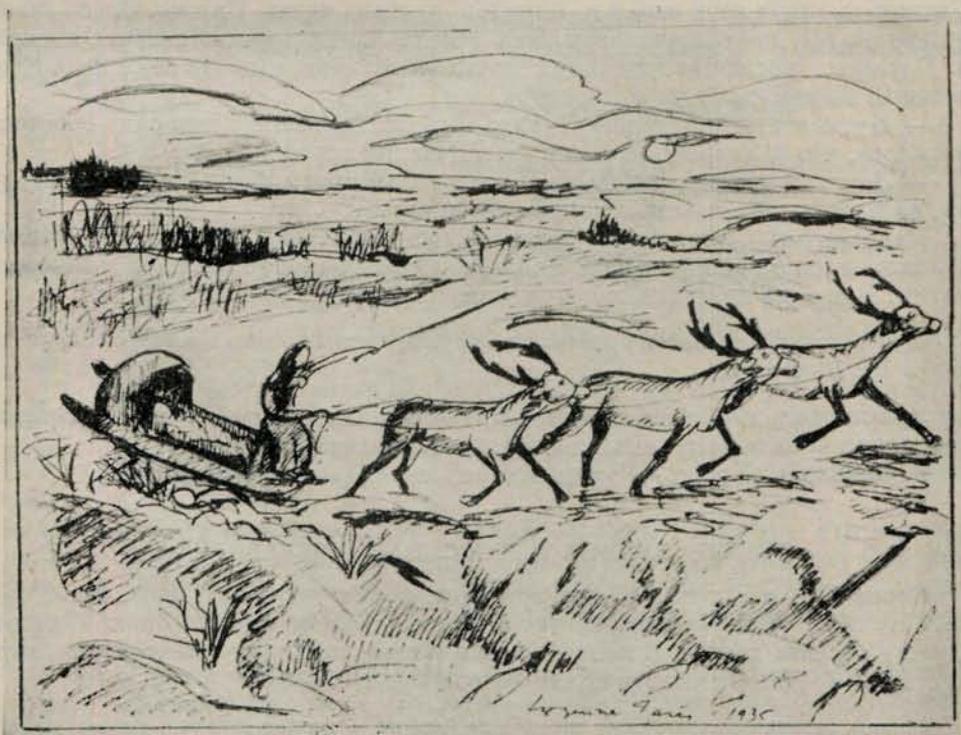
Я смеюсь:

— Ну хорошо, бежим. А дальше что?

— Луна сияет. Вечером сидим у камина.

— Вы мне читаете стихи, — добавляю я, — чудно. На другой день опять снег, стихи. А вдруг заскучаем?

— Вы сами снежная... С вами каши не сварить. Ведь не убежите?



ОЛЕНИ (СТИХОТВОРЕНИЕ «СОН»)

Рисунок Т. Д. Муравьевой-Логиновой, 1935—1968

Музей И. С. Тургенева, Орел

— Нет, не убегу, — сознаюсь я, а в душе жалею, что не способна на авантюры, и сразу думаю: Вера Николаевна Бунина продает внизу пирожки — какое тут бегство!

В тот вечер никак не могу уйти с бала. Уже брезжит утро. Наконец все двигаются к выходу. «Ведь вас довезут кретины», — говорит Бунин, целуя мою руку. Мы выходим последними.

После этого бала мы стали чаще встречаться.

Вечером, проводив меня до угла нашей улицы или до подъезда дома, И. А. задерживался. Тогда, чтобы не прерывать разговора, я шла с ним к его дому вниз по Моцартовскому авеню. Говорили о молодых литераторах, поэтах. Некоторых он яростно критиковал, к другим относился более чем снисходительно, веря в их талант. Рассказывал, как трудно было ему в молодости. Думаю, что по характеру своему Бунин не мог быть объективным.

Часто говорили мы о Париже.

— Любите ли вы Париж? — спрашивала я.

— Люблю, очень люблю, и не только потому, что это прекрасный город и памятник культуры. Сила Парижа в том, что он не накладывает на вас руку. Годами люди живут в Париже и отнюдь не становятся «парижанами», а остаются тем, чем были раньше. Сила Парижа в том, что он приемлет и чтит каждого.

— Да. Сколько писателей, мыслителей жили и творили в Париже! Для всех он вторая родина.

— О нет! Не родина, а только дом! И как значительно это слово «дом». В Париже люди обосновываются надолго потому, что это город-«светоч», он каждого освещает; каждый может найти тот «свет», который ищет. Потому-то элита всех стран и народов прошла через Париж. Здесь взвешивается все на общечеловеческих весах. А как хорошо дышать весной в Париже, когда распускаются почки каштанов, дышать этим издали веющим ветром свободы и протора.

— Ну, а я просто обожаю Париж весной! Напротив нас в саду соловьи поют так, что забываешь, что это французский город!

— Этого не советую забывать. Стоит только посмотреть на здание Лувра, на площадь Бастилии и вспомнить историю!

Наконец мы прощались. Отогнув мою перчатку, целуя руку, Бунин уславливался о новой встрече. Если что ему мешало, то посылал мне пневматик. Вот одна из таких записок, отправленная 29 января 1936 г.:

Дорогая моя, увы, не могу завтра с вами увидеться! Позвоню в четверг или в пятницу. Ив. Б. Вторник.

Приближалась Пасха. Как-то, провожая меня домой в такси, Бунин поцеловал меня в щеку. «Вы моя последняя радость!»

Я поражена. Ужель? Ужель его радость? Да еще последняя?!

ОТЪЕЗД БУНИНА В ГРАСС. ДАЧА «БЕЛЬВЕДЕР»

После Пасхи Бунин заболел гриппом, потом уехал в Грасс. Я скучала. Случайно через знакомых узнала, что в одном имении около Грасса сдается на лето домик. В конце июня я написала Ивану Алексеевичу, что приеду в Грасс. Он ответил, что не советует:

Милая Татьяна Дмитриевна, спасибо за билеты — только я уже в Грассе, давно уехал из Парижа. Жалею, что там не повидались — тогда я рассказал бы вам подробно, что такое Грасс и сколь он не годится вам на лето: жарко, скучно, — пустыня! — жить дорого, до моря далеко, русских, кроме нас, ни души, да и мы — будем ли мы этим летом в Грассе? Обстоятельства таковы, что навряд. Если уж хотите в наши мес-

та, то надо куда-нибудь под Cannes — La Napoule, например. Местечко скромное, но возле моря.

Думаю, что на днях буду опять в Париже. Тогда позволю вам и поговорим обо всем этом как следует.

Так что, может быть, до скорого свидания. Ив. Б у н и н.

Но меня тянуло именно туда. На другой день по приезде отправилась разыскивать дачу «Бельведер». В. Н. встретила меня мило и радушно. Сидели под пальмой на террасе, пили чай в прохладной и пустоватой столовой. Меблировка была более чем простая: большой стол, покрытый клеенкой, вокруг стулья. Немного продавленный диван, столик с журналами. Оставили меня ужинать.

Чувствовала я себя настолько смущенной, — первый раз в гостях у Буниных, — что даже не смогла оценить по достоинству кулинарию их повара Жозефа: суп и помидоры по-провансальски, любимое блюдо И. А.

Расспрашивали меня про Париж, про Гончарову, Ларионова, общих знакомых. Бунин оживился. В Грассе он скучал.

— Я вам писал, что Грасс — «пустыня». Теперь сами увидите. Давайте поедем завтра к морю. Ведь вы купаетесь?

Провожая меня в такси до моего предместья Сен-Жак, он все жалуется на скуку и одиночество.

ПЛЯЖ В КАННАХ

Чудесный день. Море светло-голубовато-серое, едва-едва колышется. Пляж усыпан купающимися. Едем в автобусе, и на лице Бунина интерес и восхищение:

— Смотрите, смотрите, как он это ловко! Какой артист!

— Не вижу, право, какой артист, где?

— Да не видите разве? Шофер наш. Виртуоз! Руль у него в руках так и ходит. Вправо, влево, стоп — прямо играет. И нас, сорок человек, трясет по мановению его руки.

Идем на общий пляж. Бунин элегантен, весь в белом. Снимает с выхоленных ног парусиновые туфли, носки и садится на песок.

— Я давно не купаюсь, но люблю полежать на горячем песке.

Я окунулась, проплыла немного и быстро назад — холодно в первый раз.

— Ну что же это за купанье? Меня бывало из воды не вытащить. Моя стихия — солнце, пена, брызги соленые. Да что это за море сегодня. Оно слишком неподвижно!

...Идем по набережной Круазет. Среди пальм масса гуляющих. Много иностранцев.

— Вот сфотографировал, — смеется И. А., — вон ту, что впереди. У меня ведь не глаз, а настоящий фотографический аппарат. Чик-чик и готово. Навсегда запечатлел. А вот та, что вихляет бедрами, в коротких штанишках, и тот, с ослиными ушами, — не видели? Мимо прошли. А еще художница!

Потом долго сидим в кафе в ожидании автобуса. Бунин пьет коньяк — у него и фляжка всегда с собой, с крышечкой-стаканчиком. Для подкрепления в дороге. Угощать он любит.

— Да съешьте еще что-нибудь. Бутерброд посолоннее. Ведь вы купались. Один бисквитик. О линии вам заботиться нечего.

Во время поездки говорит о море, о жизни в Одессе, в Ялте. Вспоминает свою первую жену — я будто чем-то ее напоминаю.

СЕН - ЖАК

В июле И. А. согласился приехать к нам в Сен-Жак посмотреть мои картины в новоустроенном ателье. Нам оставили на хранение ковры, и я их развесила по стенам, а на цементном полу расставила ящики — это были столы и стулья. Получилось недурно.

Бунин приехал в такси. Белоснежный летний костюм — подтянутый, знатный иностранец. Такси остался ждать у ворот. Я, волнуясь, угощаю гостя аперитивом, показываю летние наброски.

— Хорошо. Это наброски, а где же картины? Очень свободно сделано, широкими мазками, с темпераментом. Я всегда советую молодым писателям не поддаваться одному вдохновенью. Нельзя творить, как птица поет. Надо строить. Если дом строить — нужен план, и каждый кирпич к кирпичу подогнать и скрепить. Работать надо! В большой талантливости, в блеске — опасность. Слишком легко вам все дается!

— Передать душу Прованса красками на бумаге не так-то легко, — отвечаю я.

Мне очень хотелось, чтобы И. А. взял на память пейзаж, который ему очень понравился — серо-голубые горы сквозь серебро оливковых деревьев. Но он улыбнулся своей тончайшей улыбкой и взять подарок отказался...

В июле я сделала набросок дачи «Бельведер» — с громадной пальмой и оливковым деревом, стерегущими зеленую калитку, — вход на террасу. Вид оттуда был чудесный.

Скоро к Буниным приехали гости — Борис Зайцев с женой, подругой юности Веры Николаевны. Помню одну прогулку с Зайцевыми вдоль канала Сиань на высотах Грасса. Бунин, Зайцев и Зуров — шли впереди, дамы сзади. Вера Зайцева без усталости говорила. Потом В. Н. сказала:

— У Веры больше таланта и блеска, чем у Бориса.

Бывали у Буниных писатели, проводившие лето в Ницце. Стало шумно, многолюдно, в столовой не хватало стульев. Я стала реже бывать у Буниных.

В имение Сен-Жак тоже приехало много молодежи на летние каникулы. Устраивали прогулки, вечеринки под оливковыми деревьями. В моей жизни неожиданно произошло большое событие — я стала невестой. Вышла я замуж летом 1937 года. В этот год я мало видела Ивана Алексеевича. Вот одно из его писем этого времени:

1.IX.37

Моя дорогая художница, я был в Югославии и в Италии, теперь держу путь домой. Вероятно, уеду завтра (утром или вечером), жалко, что вас не повидал. В. Н. прислала нынче письмо, вспоминает, что вы хотели купить кое-что из нашего имущества, оставшегося на Belvédère, и говорит, что если вы еще не оставили этой мысли, то вам надо обратиться к Жозефу (Villa «Vieux Logis» над «Бельведером») в гравдник, ибо он теперь работает на фабрике.

Целую вас, — с позволения вашего супруга, — и желаю всех благ. Ив. Б у н и н

В 1938 году мы проводили лето в маленьком домике, снятом в Сен-Жаке. Были раз или два у Буниных, пригласили их к нам в деревню на пикник. Развели огонь из шишек среди камней. В прованском масле кипел тонко нарезанный картофель — любимые «фрит» Ивана Алексеевича. Жарили на углях барашка. Гости не шли. Наконец на склоне горы показался И. А., один.

— А где же дамы? — мы ждали Веру Николаевну и других дам.

Оказалось, что по нездоровью они прийти не могут. И. А. был не в духе. Мы всячески старались его развлечь, угощали едой, муж подливал вино. Под конец обеда он улыбнулся:

— Я не понимаю, какое удовольствие звать гостей, работать целый день, хлопотать, делать закупки, а потом в один миг все исчезает — и хозяева объявляют, что очень счастливы...

После обеда муж сфотографировал И. А. со мной на дорожке около дома. Это единственная фотография, которая сохранилась.

Показывали Бунину имение, террасы, заросшие травой и репейником. Цикады пели без умолку, кузнечики стаями разлетались в стороны.

— А все же вы богатые люди, миллионеры.

— Каким образом? — удивилась я.

— Как же, как же, ведь у вас миллионы и миллиарды этих кузнечиков! — засмеялся Бунин.

На деле же у нас ничего не было, кроме молодости и надежды на будущее.

Моя дружба с И. А. продолжалась, но началась и большая дружба с Верой Николаевной, и эта дружба длилась до ее смерти.

Позднее, когда Бунины покинули «Бельведер», я приходила несколько раз посидеть у покинутого, запертого дома. Могучая пальма, казалось мне, «воплощала» самого Бунина, а оливковое дерево — Веру Николаевну.

II

ГОДЫ ВОЙНЫ

1939—1945

ВИЛЛА ЖАННЕТ И ЕЕ ОБИТАТЕЛИ

В сентябре 1939 года неожиданно началась война.

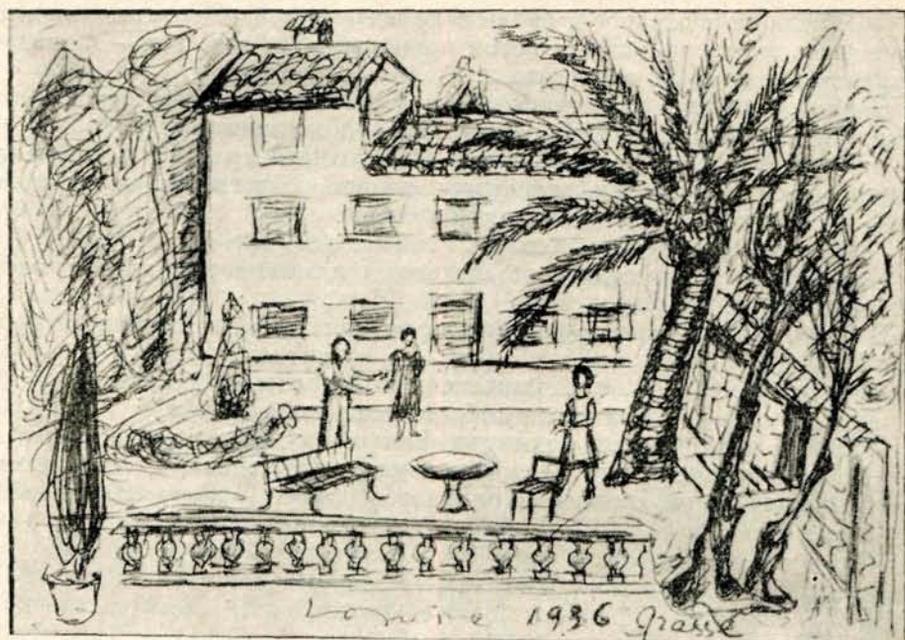
Бунины были одиноки и растеряны. К этому времени они окончательно покинули дачу «Бельведер».

Новая вилла «Жаннет», снятая у англичанки миссис Юльбер, уехавшей на время войны в Англию, была гораздо лучше и просторнее «Бельведера». Хорошая, барская обстановка, изумительный вид на Грасс — все это подбодрило Буниных. Конечно, взбираться на те высоты, на которых находилась «Жаннет», было нелегко. Вилла была одной из последних по Наполеоновской дороге, почти при выезде из Грасса. Над ней в саду возвышалась каменная часовня, а за часовней сразу начинался хвойный лес. Нужно было полчаса, чтобы подняться из Грасса по сокращенной дороге: по крутым тропинкам и лестницам мимо кактусов и запущенных огородов.

Но Бунин любил «высоты» и «горные тропинки», боялся он только одиночества на этих «высотах» и поэтому желал как можно скорее заселить бунинское гнездо «живыми» людьми.

На самом верхнем этаже поселились «горцы» — Г. Н. Кузнецова и М. А. Степун (они назывались также «барышнями» или «Галиной» и «Маргой»). Это прозвище указывало на то, что они не всегда снисходили к живущим ниже. «„Горцы“ не спускаются до меня», — писала В. Н. 11 августа 1940 г. К ним поднимались по приглашению по довольно крутой внутренней лестнице. Говорили о них во множественном числе, так как были они неразлучны, всегда их видели вместе: очень приятную на вид поэтессу, небольшого роста, мягкую, женственную, и рядом с ней высокую, художавшую певицу, часто в очках и штанах.

«Горцы» говорили о литературе, о музыке и любили уединяться, — часто выезжали вдвоем, несмотря на недовольные и укоризненные взгляды ревнивого Ивана Алексеевича.



Я РАЗЫСКАЛА ВИЛЛУ «БЕЛЬВЕДЕР»

Рисунок (тушь) Т. Д. Муравьевой-Логиновой, 1936—1968

Музей И. С. Тургенева, Орел

В таких случаях сразу казался он старше, становился обрюзгшим, с мешками под глазами и отвисшими щеками, и быстро запырлялся у себя. Но бывало, что выезжали «горцы» вместе с И. А., — тогда опять на его лице был блеск и был он весь искрящийся и молодежавый.

Лицо Бунина описать трудно. Все черты его лица были подвижны. Складки около глаз, морщины продольные на лбу, немного отвисшие щеки, раздвоенный волевой подбородок и, особенно, рот и губы были настолько подвижны, что казался Бунин «многоликим». Даже нос, немного орлиный, казалось, менялся.

Глаза небольшие, глубоко посаженные, освещали это особенное лицо и тоже молниеносно изменялось их выражение, и даже их цвет: голубой, серый, зеленоватый. Был в них молодой блеск и задор, искрящийся юмор и тайная грусть, и ласка, порой же гнев, возмущение, даже ярость.

Когда И. А., всегда курия и сам увлекаясь, что-нибудь рассказывал, то было необычайно интересно следить за сменой выражений его «многоликого» лица. Был он «неуловим» и поэтому не любил позировать для портретов, и даже для фотографий.

Он в жизни был «на сцене» и отлично пользовался этим своим даром. Вера Николаевна правильно говорила, что у него все данные первоклассного актера.

Осанка у него была барская, держался всегда прямо, даже когда опирался на палку. В своей всегдашней английской кепи, загорелый, походил он скорее на моряка, на капитана «дальних плаваний» и страстно любил путешествия, то есть опять смену всего — простор бытия:

Этой краткой жизни вечным измененьем

Буду неустанно утешаться я...³

Каким же было среди этой «многоликости» истинное лицо Бунина?

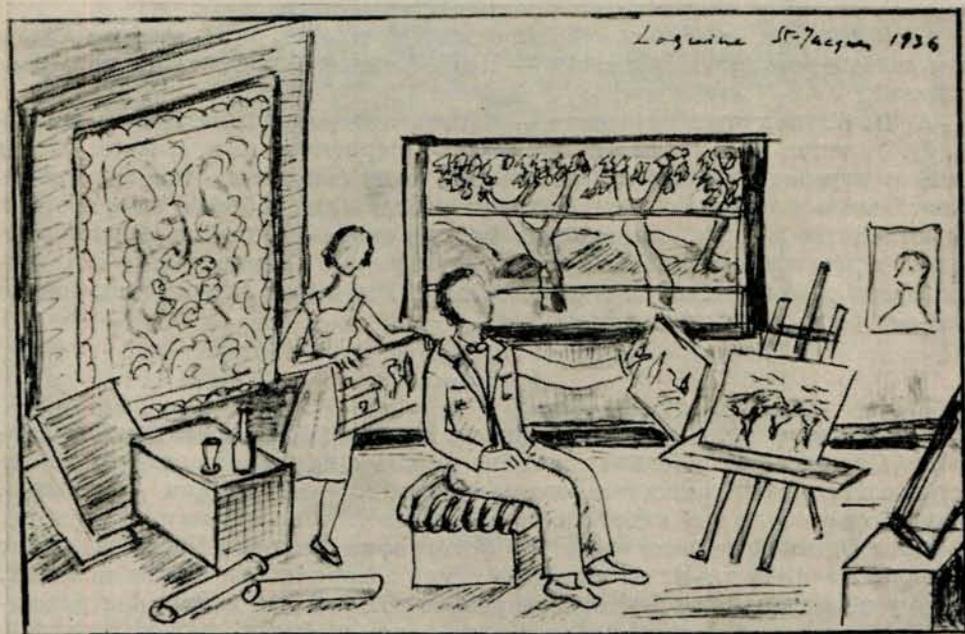
И. А. был очень скрытным, очень внутренне замкнутым человеком. Только в писании мог он вылиться — и было это ему так же необходимо, как и дыхание.

Кабинет, куда он скрывался, находился на втором этаже. Полный света, солнца, с широкими окнами и дивным видом на расстилавшийся простор — на далекие холмы и горы Эстереля, на голубую полосу моря. Обстановка была самая располагающая к умственной работе: большой письменный стол, красивые мягкие кресла, ковер и диван, на котором И. А. спал.

У Веры Николаевны была самая крайняя комната с большим, застекленным балконом, выходящим в сад. Стол, пишущая машинка, на которой годами перестукивала она рукописи И. А. Много бумаг, много книг, разложенных всюду. Семейные реликвии, иконы. Никаких безделушек, ничего уютного, специфически женского — скорее комната-келья. «Люблю мое уединение, — говорила она, — хорошо здесь думать и беседовать со своей памятью». На балконе горшки с цветами стояли и на полу, и на окнах. Тут же находилась большая тахта с подушками и садовая мебель: стол и кресла. Этот балкон предназначался для гостей В. Н., с которыми она особенно любила «поговорить по душам». Тут же оставляли ночевать и меня. Эта тахта стала «моей тахтой».

В. Н. в те годы была еще моложава. Высокая, стройная, держалась она всегда прямо. Лицо ее было бледно, часто казалась она истощенной, быстро утомлялась. Прямые, подстриженные волосы окаймляли ее лицо с тонкими чертами. Бледность лица усугублялась проседью волос, которые стали потом совсем белыми.

Говорили, что в молодости глаза ее были особенные: из них исходили синие лучи. «И как цветы глаза синели» — писал Бунин⁴. Теперь глаза поблекли, но из них излучались доброта и участие. Можно было себе представить, как хороша была В. Н. в молодости, с ее профилем греческой



ВИЛЛА «СЕН-ЖАК». В ГОСТЯХ У ХУДОЖНИЦЫ
Рисунок (гушь) Т. Д. Муравьевой-Логиновой, 1936—1968

Музей И. С. Тургенева, Орел

камеи. Одевалась она очень просто, но со вкусом, никогда не было на ней ничего перьяшлого.

От нее веяло чем-то таким достойным, редким, что казалась она порой даже «величавой»; вернее, редкое душевное благородство придавало всему ее внешнему облику особый аристократизм. Несмотря на то, что она умела владеть собой, очень вредила ей чрезмерная нервность.

И. А. любил, чтобы была она хорошо одетой, светской, и гордился ею. Также безмерно ревновал он ее. Все было у него с буинским размахом — «вне меры».

На этом же этаже поселилась молодая дама — Ляля (Жирова), красивая шатенка с большими, широко расставленными, зеленовато-кариими глазами. Она имела какое-то отношение к писательским кругам, всегда чем-то хворала, лежала и без конца курила. Маленькая дочь ее Олечка, которую Ляля обожала и неудержимо ревновала, была общей любимицей.

Иногда, из-за этой всеобщей ревности «всех ко всем», в атмосфере на вилле «Жаннет» набиралось столько электричества, что раздражалась гроза...

В конце сентября всегда праздновался день именин В. Н. Кажется, именно по этому случаю решили костюмироваться, чтобы отвлечься от разговоров о войне. Тогда еще верили в ее скорый конец.

В. Н., очень молодая по душевному складу своему, любила всякие выдумки, шутки, переодевания, прозвища — любила посмеяться от всей души. Особенно же обрадовалась этой затее Олечка. Тотчас же после ужина она исчезла с Лялей и вернулись они «турчанкой» и «порхающим эльфом». Бумажные крылышки Олечки было трудно приколоть, и каждый, в том числе И. А., давал свой совет.

«Горцы» тоже нарядились, придумали особые прически. Мне достали красный шарф — пояс, кинжал, платок (тоже красный) на голову — я превратилась в «корсиканца». Недаром любили Бунины слушать мои рассказы о лете 1935, проведенном мною на Корсике. С тех пор и прозвала меня В. Н. «Корсиканцем», или сокращенно «Корси».

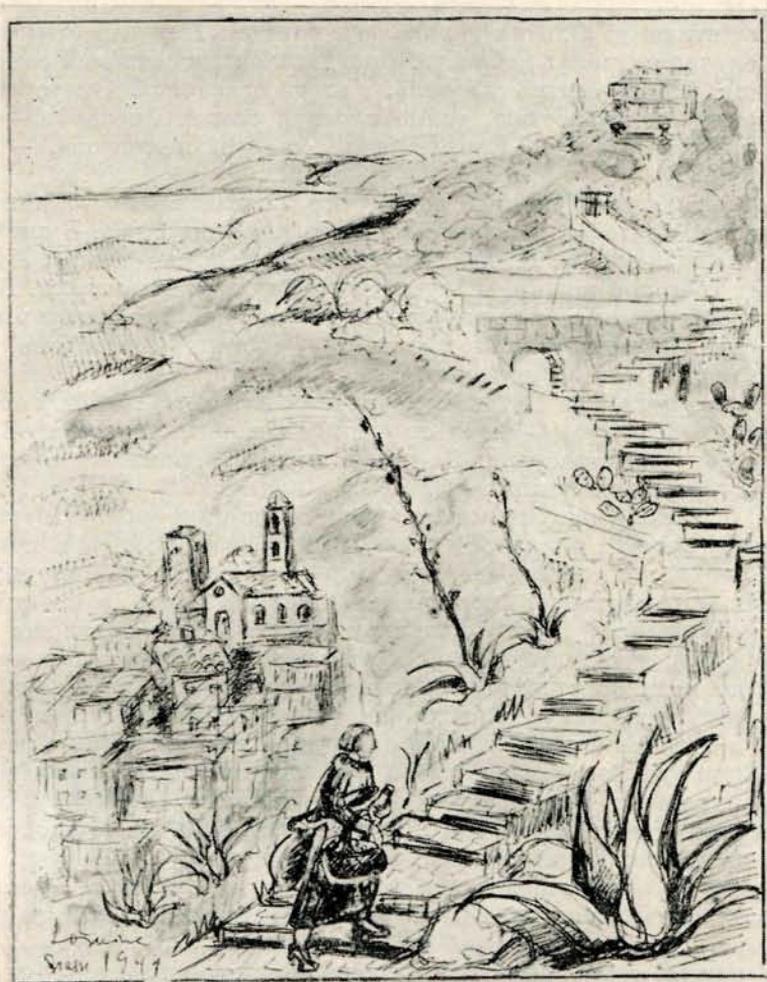
Сама же она, с бумажной короной на голове, в красивом бархатном платье, стала «Королевой» — Ника-Королева («Никой» прозвала ее Олечка).

А И. А. получил прозвище — «Князь литературный», или «Светлейший». И хотя, по словам В. Н., был он первоклассным актером, в тот день от переодевания он уклонился. Мы были огорчены — но приставать и настаивать боялись, опасно было его раздражать. Хорошо еще, что был он «отходчив» и сердился недолго. Все же «князь» снисходительно улыбался, глядя на общее веселье и танцы под старые грампластинки. Когда же он поднялся к себе, сразу стало и нам скучно: настроение «князя» было барометром дома.

ОЛЕЧКА

Нельзя вспоминать о грасской жизни Буниных, не уделив немного внимания Олечке. Эта маленькая девочка внесла в их жизнь своей непосредственностью, своей живостью, своим чутким детским сердцем — то тепло, которого им обоим так не доставало. Если бы не ревность матери, никогда бы они с Олечкой не расстались. На фотографии, снятой в Грассе на вилле «Босолей» в 1938 г., И. А. сидит на стуле и держит Олечку на коленях. Лицо у него спокойное и удовлетворенное. Олечке лет шесть, она радостно прижимается к «Ване», которого она очень любит.

По рассказам В. Н., смерть пятилетнего Коли, сына Бунина от первой жены, глубоко потрясла его. Это был необычайно одаренный мальчик. И. А. не смог примириться с его преждевременной смертью.



ВЕРА НИКОЛАЕВНА ПОДНИМАЕТСЯ К ВИЛЛЕ «ЖАННЕТ»

Рисунок (тушь) Т. Д. Муравьевой-Логиновой, 1941—1968

Музей И. С. Тургенева, Орел

Детей он любил органически, так же как любил жизнь. Дети были для него воплощением чистоты, воплощением всего расцветающего. Залогом того, что совершается, того, что будет, синонимом движения. Бунин сам всегда был в движении, в стремлении... в пути.

Преимственность всего живущего чувствовал И. А. всем нутром — поэтому так любил он молодежь. В сущности — прожив долгие тяжкие годы — душевно оставался он молод:

Снова накануне. И с годами
Сердце не считается. Иду
Молодыми, легкими шагами —
И опять, опять чего-то жду⁵.

Эти строки стихотворения, написанного в 1917 г., были актуальны и в 1939. Молодости душевной Бунин не терял.

Олечка могла входить к «Ване», даже когда он работал. Влезала к нему на колени с книжкой или картинками. Он писал для нее и говорил с ней

шуточными стихами. Олечка заливалась смехом. Как серебряный колокольчик, звучал ее смех в кабинете, и раздавался раскатистый смех Ивана Алексеевича. Насмевавшись вдоволь, они расставались. Отпустив счастливую девочку, с бодростью, точно глотнув свежего воздуха, — принимался он снова за работу. «„Ваня“ дружит со своей комнатой», — говорила она.

После вступления Италии в войну все жители виллы «Жаннет» эвакуировались в Монтобан. Олечка с матерью там и остались. Бунины вскоре вернулись в Грасс. В. Н. долго потом тосковала об Олечке. Луч света ушел из их грасской жизни, и эту пустоту ничто не заполнило. Были бы у Буниных собственные дети, внуки — и вся жизнь их стала бы иной. Настоящей «семейности» не хватало в этом столь гостеприимном доме, где все, нашедшие кров, были не «свои кровные».

Я не знаю, писал ли Бунин о детях или для детей, — но когда они встречались на его пути — умел он с ними говорить, как кудесник, как чародей, и покорял их сердца! До конца жизни продолжали Бунины любить Олечку, заботились и помогали ей и Ляле.

В 1940 г., после оккупации немцами Клермон-Феррана, вернулся в Грасс и поселился на вилле «Жаннет» Л. Ф. Зуров. Высокий, представительный «Леня», как его называли Бунины, — писатель из молодых, — которому Иван Алексеевич покровительствовал, веря в его талант, — подолгу жил с ними. На его красивом лице особенно поражали густые, нависшие брови и светлые глаза с двумя черными точками, от пристального взгляда которых становилось немного жутко.

«Леня» не упускал случая поспорить с И. А. на литературные и житейские темы и с пылом отстаивал свои позиции, а иногда и прямо переходил в атаку. Спор так разгорался, и оба так горячились, что, казалось, это уже не спор, а ссора. Вспыльчивый И. А. поднимал голос, и дело доходило до крика. Он не переносил противоречий, но был не злопамятен и очень, очень снисходителен к «молодым».

На другой день встречались как ни в чем не бывало, и все было тихо до нового «поединка», а иной раз после спора по несколько дней не разговаривали.

«Живем тихо, однообразно (но „миролюбивее“, чем прежде), — писал мне И. А. 2 марта 1940 г.

В Грассе Бунины принимали и случайных знакомых. Подчас за чайным столом можно было встретить людей, не имевших никакого отношения к искусству, ничем особенно не приметных, кроме разве своей «русскости».

Для И. А. людей «неинтересных» в мире не было. «Непосредственное чувство людей было у Яна с самого детства, — говорила В. Н. — Любимым его занятием было безошибочно определять лицо и характер человека по его зонтику, рукам, ногам. Ни у кого я не наблюдала такого поразительного глаза. Бывало говоришь: посмотри на это — я уже видел! А я не понимаю: смотрел он в другую сторону, но мгновенно заметил то, на что, казалось, и не взглянул».

Все были «интересны» для его «книжки-памяти», которую он без конца пополнял и из которой черпал все нужное.

«Все хорошо, — вспоминаются его слова, — в каждом есть что-то замечательное, неповторимое. Что обычнее серого цвета? А я раз такую редкостную серость увидел, что остановился, — шел навстречу человек, серый весь. Не только брюки, рубаха, но и сам, весь до кончика волос — серый».

«Какая стерва! — говорил он как-то с восхищением. — Сколько в ней злости! Сколько яду!» — И казалось, что он рассматривает эту «злостную стерву», как зоолог наблюдает редкого скорпиона, и совершенно так же

был восхищен, как и «той молодой», — «фарфоровая вся, розово-голубая, точно оживший фарфор из ценной коллекции!»

Бунину были необходимы различные люди, как и различная природа, а не только ее красота. Без людей и природы Бунин жить не мог — тосковал без них и творчески иссякал. Но «людской материал» исчерпывался им быстро. Бунин вдруг остывал, на лице его, столь выразительном, появлялась усталость. Тогда он вставал и поднимался к себе, чаепитие продолжалось без него.

Было бы неверно сказать, что Бунин относился к людям только по-писательски, как к «материалу». Был у него и живой интерес к их участи. Совсем не был он «сух», как иногда казалось. «Величайшую нежность, на которую способна его душа, — знают немногие, — говорила В. Н. — Эту нежность проявлял он и к детям и к старикам, которые напоминали ему своих. Он бесконечно любил свою мать. „Никто так меня не любил, как Ваня, — говорила она, — и ни у кого нет такой тонкой души“. Он вспоминал и отца с несказанной любовью, восхищался его художественной одаренностью, веселостью, образностью его языка, которую он от отца унаследовал, щедростью его натуры. Любил И. А. своих братьев и сестру со всей горячностью своей души. Всегда и во всем был он „горяч“, а не „теплопрохладен“ или „холоден“; так же горячо умел он „ненавидеть“».

Вера Николаевна была искренно расположена ко всем людям. Каждому давала она кусочек своего любвеобильного сердца. Кого только не окружила она своей материнской заботливостью! А там, где нужно было помочь в беде, — она проявляла свой редкий талант. Она была неутомима в устройствах сборов, вечеров и «слезных писем имущим». Умела она растрогать даже очень черствых и скупых людей.

В истинной человечности Бунины дополняли друг друга.

Вскоре после возвращения в Грасс из Монтобана Бунин писал мне:

25.I.41

Милая Танечка, я вас очень люблю и очень рад был нынче вашему письму и тому, что вы сравнительно благополучны. У нас тоже были большие холода, и мы порядочно страдали от них. Едим очень, очень скудно. По дому нашему прошел небольшой грипп — Вера, Марга, Галина, теперь Зуров. Вера вам скоро напишет — вы знаете, что она очень слаба и часто лежит от печени. Я очень, очень скучаю. Осенью писал, написал десяток рассказов, а куда их девать? А денег у меня осталось буквально гроши. Целую вас, как родную. Поклон вашему мужу.

Ваш Ив. Б.

ДВА РАЗГОВОРА

Сколько лет прошло с той поры, больше четверти века, — а некоторые посещения и разговоры в доме Буниных еще ярки в моей памяти. Хочу рассказать о двух из них.

Однажды сентябрьским утром 1941 г. получаю записку Веры Николаевны (восстанавливаю ее по памяти — записка не сохранилась):

Дорогой Корсиканец, я очень устала. Приходите с ночевкой дня на три (принесите краски!). «Князь» в плохом духе. Ваше присутствие его смягчит, развлечет.

В тот же день отправляюсь в Грасс. В. Н., увидев меня издали, идет ко мне навстречу.

— Вот хорошо, что пришли. Я одна. Все мои уехали до вечера. А знаете... Вас «князь» описал. Все вас узнали!

— Где?

— В рассказе «Руся». Вы — художница «Руся». И ваши цветные тесемочки на туфлях, и пояски, и ленты в волосах. Все художественные мелочи... Но это только ваша внешность.

— Про что же рассказ?

— А вот прочтете, тогда увидите. Вас «князь» находит очень одаренной. Только разбрасываетесь очень, как все одаренные люди, на все стороны. Ваша беда в том, что вы не эгоист. А артист должен свое творчество ставить в центре всего. Иначе ничего не выходит.

— Нельзя же живых людей приносить в жертву искусству.

— Творчество покупается дорогой ценой. Это должны понимать все близкие художника. И нет творчества без страданий и артиста, и близких его.

Погуляли мы с «Никой» по саду — полюбовались далями и уселись на балконе на «мою» тахту, чтобы поговорить «по душам»: о прошлом, о записках Веры Николаевны, об их жизни.

Чем больше узнавала я В. Н., тем более преклонялась перед ее внутренней силой, перед ее самоотверженной любовью, на которую редко кто способен. Высказав ей мое восхищение, я добавила:

— А все же мне кажется невероятным ваше терпение. Как могли вы столько терпеть? Оставаться позади, когда ваше место первое, рядом с писателем. Ведь вы ему так же нужны и необходимы, как столб, поддерживающий здание. Как мог он отходить от вас даже на время?

— Женой писателя быть не легко, а очень, очень трудно, — ответила мне В. Н. — Надо уметь понять, принять и простить все увлечения, не только те, что были, а заранее и все те, что смогут быть. Надо понять жажду новых впечатлений, новых ощущений, свойственную артистам, подчас им необходимую, как опьянение, без которого они не могут творить, — это не их цель, это их средство. А цель творящего человека — его творчество.

— Так что все средства хороши? Цель оправдывает средства?..

— Ваша мораль, Корси, сюда не подходит, не применима к этим людям. Они другого плана. Они видят то, что мы не видим, слышат то, что мы не слышим. Чувствуют иначе... Бунин сказал это в стихах «Памяти друга»:

...Как эта скорбь и жажда — быть вселенной,
Полями, морем, небом — мне близка!
Как остро мы любили мир с тобою
Любовью неразгаданной, слепую!

Те радости и муки без причин,
Та сладостная боль соприкасая
Душой со всем живущим, что один
Ты разделял со мною, — нет названья,
Нет имени для них — и до седин
Я донесу порывы воссозданья
Своей любви, своих плененных сил...⁶

— Значит для этих особо чувствующих людей надо забыть себя и принести себя в жертву?

— Тут нет жертвы, вы поймете это после когда-нибудь. Я всегда знала и знаю теперь, что умирать «князь» будет только со мной. Я ему нужна всегда и до конца буду нужна для самого главного. Так и всякая жена писателя нужна для самого главного — для его творчества. Сейчас я снова разбираю архивы и пишу немного. Так вот что говорит Бунин про свою первую большую любовь — Варвару Пащенко: «Варя правильно поступила, не соединив своей жизни с моей. Такая женщина не должна быть женой творческого человека. Для этого в ее натуре не было необходимых черт. Творческий человек сам прежде всего живет для своего творчества, и

ему нужно устроить жизнь так, чтобы она была приноровлена к его работе». — И еще дальше Ян пишет: «Трудно и не сразу отдаешь себе отчет... почему та или другая обстановка необходимы, чтобы писатель, художник, композитор, ученый — мог творить...» Вот эту «обстановку» и создает жена творческого человека, а в отказе от своего и в страданиях всегда бывает и радость!

Не дождавшись возвращения Ивана Алексеевича, мы легли спать. У меня глаза слипались, а Вера Николаевна все еще хотела поговорить...

На другой день я стараюсь рассеять сплин И. А., — ведь для этого и звала меня «Ника». Вхожу в кабинет. Он мрачен, раздражен.

— Как у вас чудесно в кабинете! — говорю я, подходя к широкому окну. — Вам тут и писать легко!

— Да, когда сидишь в кресле, только небо да облака видишь, точно на корабле! Был бы корабль, да уехать куда-нибудь! Но, увы, я не на корабле, а здесь! А в этой атмосфере я не могу работать. Вот хочу написать то, что еще ярко в памяти. А архивы в Париже. Заперт, как в клетку! Пишу, пишу, а где печатать? Для кого? Кто будет читать?

— Должен ли писатель думать о том, кто его будет читать? Ведь вы пишете не для одного поколения.

— Производитель должен считаться с потребителем, с его вкусами. А писатель пишет не для Петра, Ивана или Марьи — а для человечества в целом. Если темы писателя глубокие, общечеловеческие, то он непременно затронет какие-то фибры у каждого отдельного человека — и в этом поколении, и в будущих. Толстого читают все, вне всяких границ расовых, национальных, социальных. Писать о главном: о любви и смерти, о болезни и ревности, о юности и старости — это писать о том, чем жил и чем всегда будет жить человек, независимо от исторического времени и от условий его существования. Эти темы касаются каждого, интересуют каждого. Это «внутри» пишется и «внутри» читается. Темы социальные меняются. Темы общечеловеческие извечны. Бытие всегда превышает быт!

— Значит вы знаете, что у вас будут читатели, и на общем мировом книжном рынке можно будет найти книги Бунина?

— Если не пропадут рукописи и если будет возможность их напечатать. Конечно, я надеюсь, очень надеюсь, что меня будут когда-нибудь читать в России... Но я до этого не доживу! А переводы, дорогая моя! Сам я переводил, много работал еще в молодости над «Песней о Гайавате» Лонгфелло... Перевоплощаться надо. Языками надо владеть, двумя. Чувствовать надо и все, что недосказано, что между строк. Дословный перевод все искажает. И меня переводили до войны на французский, английский, немецкий, шведский...

— Вы переводами не очень довольны?

— Редко бываю совершенно доволен. Очень это трудно! «Митина любовь» переведена неплохо. Мало, мало хороших переводчиков, а переводная литература совершенно необходима.

— Доктор Штейнер предсказал в наступающем цикле расцвет и даже торжество русской культуры, литературы! Тогда и все иностранцы будут говорить и читать по-русски!

— Ну, эти ваши штейнеровские небылицы!.. Но хотелось бы верить в такое торжество!..

И, широко улыбаясь (наконец!), И. А. закуривает новую папиросу. Я вздыхаю с облегчением: миссия выполнена!

— Мне пора. Не хочу мешать вам работать для этого будущего торжества русской литературы.

— Да, дорогая моя, надо, надо работать! А вас всегда рад видеть, как родную. Когда еще заглянете вы в наши края? Танечка, пока вы здесь, прошу вас, займитесь Верой. Она вас любит и рада будет с вами погулять.

— Мы уже с ней сговорились: Бахрах возьмет на себя ее дежурство, а мы пойдем по дороге к часовне св. Христофора. Там сейчас чудесно. Можно спокойно и посидеть, и поговорить.

— Отлично. Непременно идите. Вере необходимо отвлечься от дому. Поручаю вам ее развлечь, подбодрить!

Удрученное душевное состояние и раздражение Бунина, что так беспокоили В. Н., были временны и проходили. Он и в те годы оставался могучим дубом, и творчески таинственно питались его корни подпочвенной водой.

— Яну лучше,— говорила мне В. Н.,— он опять зовет меня по вечерам и только мне читает написанное за день.

Оптимизм И. А. был глубочайший, вера в жизнь, в конечную победу добра, поклонение красоте — никогда не оставляли его. С юных лет заветными были для него слова его отца: «Поверь, все в жизни проходит и не стоит слез, а самая большая беда — это печаль».

Оптимизму И. А. соответствовала душевная сила и бодрость В. Н., никогда не падавшей духом и мужественно противостоявшей невзгодам, болезням и испытаниям.

В то военное время невзгоды были повсюду. Иногда удавалось послать Буниным продовольственную посылку, которую они делили со всеми живущими в их доме.

В июне В. Н. писала о том, что на вилле «Жаннет» поселился еще один молодой журналист, энергичный Александр Бахрах. «Живем теперь коммуной в шесть человек», — писал И. А. Присутствие нового гостя принесло некоторое облегчение для В. Н. в ее хозяйственной работе, совсем не пропорциональной ее возрасту и силам. Привожу выдержки из ее писем:

9-ое июня 1941 года.

Дорогой мой Корсиканец, что вы о нас думаете? И что я о вас думаю?.. Столько времени не писала вам, не поблагодарила вас за вашу милую посылку, за которую не раз помянули вас добрым словом. И все потому, что я хотела вам написать настоящее письмо, а не отписку, а на настоящее письмо не было ни сил, ни возможности. Знаете, день за днем мелкие заботы, усталость, требующая лежания, а там дежурство, а там беги за мясом или еще за чем-нибудь. Все вы знаете и понимаете, а поэтому и прощаете.

...Пообедали — ничего, слава богу, сыты. Я это время читаю переписку Флобера. И опять, как в молодости, понемногу влюбляюсь в него. Как он не похож на француза! Какая у него широта взглядов и смелость суждений. И что за нежный сын, что за восхитительный любовник — в широком смысле этого слова. Как я жалею, что раньше не читала этих изумительных писем. И какой он друг! И его жизнь в «башне из слоновой кости» мне так близка. Но, конечно, в молодости он был бы мне ближе, чем теперь...

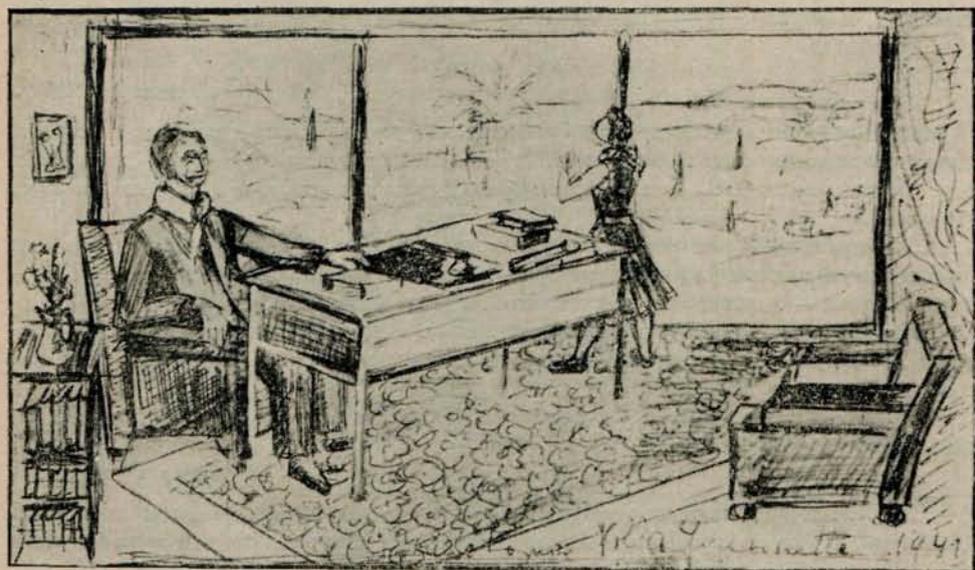
Была в деревне. Там пошли большие строгости — нельзя даже соседу продать пучок салату. Все переписывается. Нельзя без разрешения даже вырыть картошку для собственного потребления.

...Из Парижа нерадостные вести. Очень холодали. Голодали: котлеты на касторке, каша из овса, чай-бурда. Но русские по-прежнему ходят друг к другу в гости и до хрипоты решают мировые вопросы за чаем-бурдой со своим сахаром и хлебом... И каждый имеет свою точку зрения, порой очень неожиданную, которую и защищает с пеной у рта. И зачастую вчерашние друзья оказываются врагами, и наоборот.

Плохо очень писателям... И как помочь не знаю. Вообще мне пишут, что большинство русских живет без всяких средств. И все было: и недействующие нужники, и лопающиеся трубы от мороза, и спанье на раздеваясь...

23 ноября 1941

...Что вам сказать о нас? Живем. Атмосфера как будто стала лучше. Все как будто серьезнее стали смотреть на жизнь и меньше придают значения пустякам.



ВИЛЛА «ЖАННЕТ». У БУНИНА В КАБИНЕТЕ

Рисунок (тушь) Т. Д. Муравьевой-Логиновой, 1941—1968

Музей И. С. Тургенева, Орел

...У нас появилось новое знакомство и на этот раз интересное. Люксембургская семья. У них именно за Кабрисом, в нем-то и жил Андре Жид больше года... Семья состоит из матери, дочери и зятя. Мать очень образованная женщина, тонко понимающая литературу — друг многих писателей... Очень милая и простая по виду женщина.

...Мать, через Жида, познакомилась с книгами И. А. и пришла в восторг от его писаний. Она большая поклонница Толстого. И как раз у них гостила внучка Льва Николаевича, которую хозяйка любит, как свою дочь.

...Дочь поклонница Достоевского. Они с матерью были в Москве, когда ездили в Персию. Мать вообще очень любит путешествовать.

...Сейчас я читаю «Дневник» Андре Жида, который мне дали на прочтение. Андре Жид обещал мне его подарить — но подарил Бахраху — который теперь в Ницце угощает Андре Жидом своих друзей... а те угощают А. Жида завтраками и обедами. На двух был И. А.⁸, так что все довольны: одним лестно, а другим вкусно. Добрый человек Бахрах...

В июне 1942 г. В. Н. писала мне о событиях в их жизни:

...*Первое:* моя довольно серьезная болезнь, вернее болезни... Исхудала я сильно — 50 кило.

Второе: «Горцы» нас покинули, живут в Каннах в снятой маленькой квартирке, состоящей из двух комнат... Нашлась добрая душа, которая дает им возможность хорошо жить... Видаемся мы с ними очень редко.

Зима была у нас холодная, и мы очень страдали: мерзли руки, ноги. Я большую часть времени проводила в постели. Много перечитала. Всего Жида и несколько книг о нем. Читала русских классиков. Даже устала от чтения.

Жизнь на вилле «Жаннет» шла однообразно. Всегдашнее беспокойство Буниных о судьбе оставшихся в Париже, по ту сторону оккупационной зоны. Беспокойство о судьбе бездомной и больной Ляли и об Олечке. Грозные военные вести, которые жадно ловили по радио. Некоторое оживление внесли рождественские праздники, которые все в доме любили, а В. Н.

особенно, и встреча Нового, 1943 года. Привожу выдержки из писем В. Н. того времени:

15 января 1943 г.

...Не написала я вам к празднику потому, что писала много открыток в Париж, а это для меня утомительное дело, т. к. готовые французские фразы* не выражают того, что хочется сказать, а так владеть французским языком, как я владею русским, я не умею.

...На праздниках мы несколько раз хорошо ели... 24 декабря один приезжий парижанин угощал нас ужином в ресторане. Поели до отвала. В наш сочельник сделали у нас ужин — в складчину из продуктов, и тоже были сыты.

...Из Парижа всякое письмо приносит весть о смерти: нет уже в живых Бальмонта, Тесленко. Дошла ли до вас весть о кончине Осоргина? Бедная жена в полном отчаянии.

...Я читаю письма Толстого и нахожусь в его атмосфере, в которой давно не находилась...

16-го марта 1943 года

...Иногда хорошие люди чем-нибудь украсят наш стол. Думаю, что так у многих. Некоторые, кто очень страдает, продают свои вещи и покупают то, что можно купить еще.

...И. А. уехал в Канн. Он тоже не очень хорошо себя чувствует. Много читает. Сейчас у него Плутарх. А то мы погружались в трагедии Шекспира. Чтение подходящее...

В 1943 году немцы заняли всю Францию. В. Н. писала: «Наш маленький город стал шумным, оживленным». Часть немецкого штаба расположилась в «Helios'e», почти рядом с виллой «Жаннет». Оккупацию переносили все очень тяжело: надо было молчать, терпеть и ждать, нервы были напряжены до крайности. И. А. написал мне в Лион:

2.V.43

Дорогая Танечка, с праздником!

Сделайте одолжение, исполните мою усердную просьбу, если вы хотите, чтобы я продолжал обогащать русскую и всемирную литературу: вышлите мне то, что у нас уже нельзя найти, а именно: коробки 2 Phytine Ciba — он делается у вас — 103 à 117, B^d de la Part-Dieu, Lyon — и, думаю, есть во всякой аптеке. Пожалуйста, найдите или пришлите мне наложенным платежом (или напишите, сколько вам за него выслать — в виде подарка я ни за что не приму).

Целую вас, кланяюсь супругу.

Ваш Ив. Б у н и н

P. S. Серьезно — мне Phytine совершенно необходим — я совсем болен нервно.

В ответ на мое извещение, что лекарство выслано, И. А. писал мне:

Спасибо, спасибо, дорогая моя. Целую. Рад, что приедете в наши края и что, значит, мы повидаемся.

Храни бог.

Ваш Ив. Б у н и н

10.V.43

ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ В ГРАССЕ

За годы войны все вокруг одряхлело. Вилла «Жаннет» тоже потеряла свой элегантный, буржуазный вид. Центральное отопление давно перестало действовать. Водопровод, электричество часто закрывали. Полы не

* Переписываться с оккупированной зоной можно было только по-французски.

натирались годами; мебель расшаталась, запачкалась. Сад был запущен, деревья не подстрижены.

Сильный творческий дух Бунина сумел противостоять и этому материальному одряхлению, и всем житейским невзгодам и трудностям. Нобелевская премия, полученная в 1933 г., была щедро роздана неимущим и прожита. Бунины не умели «обращаться с деньгами» и «придерживать» их. Безденежье очень угнетало И. А.

Непрестанная тревога о судьбах России подрывала его здоровье, мучила его, но не сломила его дух. С крайним волнением не отходил он от радио, чтобы узнать из швейцарских или английских передач правду о продвижении советских войск. Никогда не покидала его вера в конечную победу над немцами. Именно в это тяжкое время были созданы Буниным прекрасные вещи.

Жить в Грассе становилось все хуже. Ни продовольствия, ни денег. Кто мог поддержать писательское гнездо? Каждый думал о том, как бы прокормиться!.. «Горцы» давно уехали. Жили вчетвером: Бунины, Зуров и Бахрах.

Весной 1944 г. началась эвакуация Средиземноморского побережья. Зуров на время уехал в Париж. 12 марта В. Н. писала мне в Лион:

...мы подлежим эвакуации, хлопочем, чтобы нам удлиннили срок. Пока оставлен только И. А. Правда, эвакуация замедляется, слишком много беженцев.

Если придется покинуть Грасс — то надеемся попасть в Париж и поселиться где-нибудь в деревне. У нас уже есть приглашение. Но переезд очень страшит. В поездах бог знает что делается. Часть вещей мы уже отправили на нашу квартиру. Надеемся, что с божьей помощью они дойдут.

Сейчас у нас все уже запаковано, а уезжать не собираемся... Странное это чувство! Не знаешь, что будет с тобой завтра...

27 апреля 1944 г.

...Мы всё живем «на чемоданах». Хотя нам дали отсрочку.

...Ян стал опять немного писать. Леся по-прежнему работает над своей книгой. Я тоже иногда провожу время в «Беседах со своей памятью». Есть у меня и переписка со стороны, так что времени на скуку или даже тоску нет.

В следующих выдержках из писем В. Н. лучше всего передается тревога тех лет:

<Получено 2-го мая 1944 г.>

Эти дни мы все беспокоимся: слишком много везде падает бомб. Из Парижа пишут, что это что-то страшное. А что было у вас в Лионе? В Грассе, как я вам писала, опять много вывесок, сколько человек может поместиться в том или другом «абри»**.

...Много здесь русских солдат — идешь и слышишь то там, то здесь русскую речь — говорят все очень хорошо, неспорченным русским языком.

8-го июня 1944 года, 4 ч. 30 м. вечера

...Вчера в 5 часов принесли ваше письмо — теперь почта, как видите, приходит вместо утра к вечеру, — и я до сих пор не могу ни о чем думать, кроме вашего дома. О бомбардировке Лиона мы, конечно, знали, но утешали себя тем, что вы живете вдали от центра, боялись, что вас могло захватить где-нибудь на службе, — хотя успокаивали себя тем, что вы в деревне.

...В Ницце подобных случаев тоже немало. Отец, например, пошел работать в поле, вернулся — ни жены, ни ребенка, головы ребенка найти так и не смог. Все мы должны быть ко всему готовы.

* Американцы бомбардировали все вокзалы. Уничтожена была университетская лаборатория, где мы работали; пострадал дом, где мы жили, около вокзала.

** Абу — бомбоубежище (франц.).

...Я чувствую себя плохо. В воскресенье проснулась и увидела, что комната качается, и так было с час, пульс 50. Даже попросила Леню разбудить Яна, что я делаю в крайних случаях — ибо он очень пугается, когда что-нибудь со мной бывает неприятное. Он вошел ко мне — на нем лица не было. Но дал камфары, черного кофе — и мне стало лучше.

В сентябре 1944 г. Франция была освобождена от оккупационных войск. Война и трудности продолжались, но все вздохнули свободно. В. Н. писала 31 октября:

...Пока два слова. Плохо себя чувствую для длинного письма. И открытку и закрытое письмо получила. Спасибо. Мы никого не видим.

...Аля уехал — мы остались втроем. Мне больше теперь приходится таскать мешков в гору. Леня чувствует себя не очень хорошо, и я боюсь за его здоровье: он всегда задыхается, идя в гору. Он много работает — кончает одну книгу.

Ян не очень хорошо себя чувствует, жалуется на боль в груди, слабость, но обещал дать на завтра кое-что переписать.

...Здесь будет на кладбище торжественное поминовение убиенных и погибших на войне и в оккупации.

«Вот и 1945 год! Что принесет он нам и миру?» — спрашивает В. Н. в своем новогоднем письме от 1 января.

Всегдашний оптимизм не оставляет Буниных, несмотря на то, что трудности и безденежье сжимают их своим железным кольцом. Есть люди «более несчастные», и для них надо уделить время, найти силы их посетить, им помочь. В. Н. писала мне, что посещает мою родственницу, тяжело больную, одинокую женщину, что И. А. обегал все аптеки в Канне и Ницце, разыскивая лекарства.

20 февраля В. Н. сообщала:

...А мы уже на отлете. Хозяйка, — не помню, писала ли я вам, — просит к первому апреля освободить виллу. Мы просили дать нам еще месяц срока. Страшно ехать в Париж так рано. Домá все промерзло, и может быть плохая погода. Да и поездов еще очень мало, и будут ли они через месяц, еще неизвестно. Вот и подводишь итог своей жизни на «Жаннет». Больше тяжелого, чем радостного.

Правда, время такое, что о радости стыдно и думать, но все же хотелось бы и для себя немного иметь, а ее нет.

Жаль, конечно, мне кое-что и здесь: моего уединения, простора. Отсутствия городской суеты и частого свидания с людьми, которые тебе не дают ничего ни для ума, ни для души. Здесь от этого было хорошо защищаться высотой, не так легко добраться. Но с другой стороны, хочется видеть близких сердцу, хочется побыть с теми, с кем можно отвести душу...

1-го марта 1945

...Мы доживаем здесь последний месяц. Едем в Париж!

...Нас выкидывает хозяйка. Были неприятности с квартирой — жильцы не хотели съезжать*. С трудом их выжили наши друзья, но выехали ли они уже или нет — мы не знаем.

...Сегодня телеграмма от нашей англичанки: позволила остаться до конца апреля. Все же можно не так сумасшедше спешить. Да и в Париже будет теплее. Я молю бога к Страстной туда приехать...

Наконец, Бунины готовы к отъезду в Париж. В их квартире, уже с начала года, поселилась Ляля (в комнатке, где хранится их архив на полках и в чемоданах). После выселения жильцов Ляля взяла Олечку домой, и они заняли большую комнату.

Меня очень страшил этот переезд. Они привыкли к теплому, южному климату, благотворному для слабых легких Бунина. Да и войну перенесли

* Речь идет о парижской квартире Буниных.



БУНИН и Т. Д. МУРАВЬЕВА-ЛОГИНОВА
 Фотография И. Н. Муравьева, Грасс, 1938
 Собрание Т. Д. Муравьевой-Логиновой, Франция

они относительно благополучно, без серьезных заболеваний, именно благодаря «блаженному югу», который И. А. так горячо любил. Я написала им, прося не порывать с югом окончательно. 9 марта В. Н. ответила энергично:

...Ваши доводы относительно того, чтобы мы до окончания войны оставались в Грассе, не выдерживают критики.

1) Чем жить? Здесь заработать нельзя, а в Париже можно. Устроить вечер, продать книгу и т. д.

2) Дороговизна здесь большая, так как продуктов меньше, если покупать их из-под полы, а если жить на тикеты — то везде одинаково.

3) Не дай бог заболеть... Ни докторов, которым можно верить, ни лекарств. А мы в таком возрасте, что от болезни нельзя отмахиваться. А в Париже есть русские доктора, русские аптеки, всегда помогут. Да и госпитали не такие плохие, как здесь. Я не говорю о том полном одиночестве, в каком мы живем. Ведь нет ни одного человека, с которым можно поговорить о литературе, об искусстве, обо всем том, чем мы собственно живы.

...Что же касается нас — то раз мы согласились с нашей англичанкой, что съедем при первом ее желании, — то что бы ни было — мы съехали бы. Мы попросили дать нам лишний месяц — и она дала. Значит, в апреле, бог даст, проедем через Лион.

Теперь особенно приятно быть человеком слова, в такое время. Кроме того, переезжать на север нужно с весны, чтобы не сразу попасть в холод, а во-вторых, кой-чем на зиму запастись.

III

СНОВА В ПАРИЖЕ

1945—1961

ВОЗВРАЩЕНИЕ НА RUE JAUQUES OFFENBACH

1 мая 1945 г., навсегда расставшись с Грассом и виллой «Жаннет», Бунины с радостью и надеждой вернулись домой, в свою небольшую квартиру на улице Жак Оффенбах («Яшкинская» улица). Сразу наступило «жаркое» время парижской деятельности, плохо отразившееся на здоровье И. А.

Вскоре по приезде в Париж, 19 июня, В. Н. устроила вечер Бунина, так необходимый им для пополнения пустой кассы. 5 июля она писала об этом вечере Е. П. Ставраки:

...Время для меня жаркое — заботы и хлопоты перед вечером. Он прошел удачно — дал больше 30 000 фр. Зал был полон. Только И. А. было трудно читать: по приезде простудился и кашляет шесть недель, похоже на коклюш. За два часа перед выступлением был доктор и, слава богу, за чтением не раскашлялся. Но я чувствовала, как ему трудно было читать...

У меня сердце ослабело от усталости и утомления... Но все же держусь и работаю, «*tenue de ménage*»* у нас нет.

...Зуров часто бывает у нас — иной раз по целым вечерам беседует с И. А. за чайным столом...

Вскоре по выходе в свет книги Ивана Алексеевича «Темные аллеи», получила я из Парижа ее в подарок с надписью: «Кланяюсь вам, дорогой, старый друг. Ив. Б у н и н».

Приезжала я в Париж осенью, старалась попасть к именинам В. Н. В этот день у них бывало столько гостей, настоящее столпотворение — в коридоре, в двух комнатах, за столом не было места, и еще раздавались звонки и входили новые посетители с цветами и пакетами.

Всегда меня встречала В. Н. ласково, как родную, выходил из кабинета «князь», все радостно смеялись, здороваясь целовались. Вспоминали Грасс — «блаженный юг».

Как-то на именины В. Н. принесла я папку своих этюдов, и она выбрала букет пионов, который потом висел у Буниных в столовой, а в кабинете у И. А. — вид Парижа.

Картин у них было мало, хотя В. Н. любила ходить на выставки и часто упоминала об этом в письмах.

В начале 1947 г. И. А. очень болел, — «пролежал два месяца с сильным гриппом со страшным кашлем», — и врачи отправили его на юг на поправку. Уехал он в Жуан-ле-Пен, в «Русский дом». Это пребывание было для него тягостным уже потому, что был он один, без Веры Николаевны, а «одиночества он не переносил».

* прислуги (франц.).

В. Н. БУНИНА ЗА РАБОТОЙ

Фотография. Грасс, 1930-е годы

Центральный архив литературы
и искусства, Москва

Очень жарким было в Париже лето 1947 г. Как всегда, парижане разъехались, Бунины остались, поневоле, в городе. 20 августа В. Н. писала:

Мне очень тяжело, что не удалось Яна устроить куда-нибудь в зелень. Где хорошо — так «каштала не достает»⁹, а где по карману, там «убожество», а убожества он, как вы знаете, не переносит. — Лучше нищета! От всего у него ослабело сердце, так что врач назначил ему «сердечное лечение» и теперь он чувствует себя бодрее. Выходит из дому мало, но много возится со своим архивом. Много читает, но еще не пишет ничего, кроме деловых писем.

...А я стала продолжать мои «Беседы с памятью». Еще очень трудно, после длинного перерыва, найти верный тон: нужно или сохранить стиль уже написанного, или же начать писать по-новому. Все это решить, когда пот льется, иной раз даже у меня, по лицу, трудно. Много читаю, кончаю серию книг, изданных в России в 1929 году...

В сентябре Бунин стал чувствовать себя бодрее — «дома стены помогают», писала В. Н. 7 сентября. У нее же самой отдыха не было:

Из моих попыток писать вышло мало, ведь, живя вдвоем, я не только «одна за все», но и «девочка на побегушках», словом, иногда приходилось работать так часов по тринадцать! Сегодня могу спокойно писать, пока «мой» не проснулся. Проснулся! я все подала и опять свободна некоторое время. В октябре Ян хочет устроить свой вечер!.. Не знаю, что выйдет из этой затеи, но без вечера обойтись трудно, ведь нужно на холодные месяцы ехать на юг, а Ян без меня не хочет, а вдвоем один переезд будет стоить дорого.

В октябре 1947 г. мне с мужем удалось быть на вечере Бунина. Похудевший, довольно усталый, но бодрящийся (графинчик с коньяком стоял перед ним на столике), он начал так:

«Будучи ребенком, нашел я как-то в отцовской библиотеке старый альманах — я тогда увлекался и прямо впивался глазами в иллюстра-

ции — художество меня прельщало и мечтал я стать художником! Одна картинка меня поразила: вообразите горный поток, среди скал тропинка и на ней существо с подслеповатыми глазами, с отвисшим зобом и с дубинкой в руках. Надпись гласила: „Встреча в горах с кретином“. Эта картинка так поразила мое детское воображение, что она долго меня преследовала... Не знал я тогда, что на моем жизненном пути встречу я... много, много кретинов!»

На раздавшийся среди публики смех Бунин улыбается своей подкупающей улыбкой и вдруг яростно обрушивается... на некоторых представителей современной литературы... Обрушивается со всей свойственной ему страстностью и по бунинской «мерке».

Это его выступление перед широкой публикой было последним. Он все чаще задыхался, кашлял, его мучила эмфизема. Я всегда видела Бунина подтянутого, выбритого и знала, что он не любил показываться «не в приборе». Поэтому я не удивлялась, когда при моих посещениях он говорил мне из кабинета: «Рад вашему приезду. Целую вас, а выйти не могу! Болен!»

Оставалась одна надежда: юг! Уехать из Парижа, переменить климат, хотя бы на зимние месяцы. Как и в 1947 году, Бунин поселился в «Русском доме» в Жуан-ле-Пен, но на этот раз вместе с Верой Николаевной. 9 февраля 1948 г. она писала:

Ни о чем не думаем, кроме того, как поправить здоровье Яна. Еще не отдохнула и отдохну ли? Ян не очень радует меня. Больше двух месяцев еще мы не в состоянии будем здесь прожить, «капиталы не позволяют». Будем рады, если приедете на юг, тогда повидаемся! Я до сих пор никуда не выезжала. Не хочу надолго оставлять Яна. Спать, слава богу, стал ночью, но слабость не проходит...

Несмотря на то, что И. А. воздухом почти не пользовался и ему «надоело жить в богоугодном заведении», которое называл «ссылкой», все же он вернулся в Париж немного крепче.

15 мая 1948 г. В. Н. сообщает, что Ляля вышла замуж и, вместе с Олечкой, переехала на квартиру мужа. В течение трех лет после возвращения в Париж небольшая квартира Буниных была приютом и для Ляли с Олечкой. И. А. очень страдал от этой заселенности и от того, что не мог разбирать свой архив «по настоящему».

Теперь у нас стало свободнее, — писала В. Н. — У Яна есть кабинет; он начал работать по своему архиву, так что кабинет очень загроможден чемоданами. Это хорошо. Введет его в работу. Есть и столовая. Можно сидеть и пить чай...

Здоровье И. А. все ухудшалось: «летом чуть не умер от воспаления легких»; «уехал на юг в ужасном состоянии». 8 мая 1949 г. В. Н. писала мне из Жуан-ле-Пен:

Мы еще в благодатном краю, но им не пользуемся. После вашего отъезда, во второй раз Ян заболел воспалением в правом легком. Но, слава богу, опять удалось прервать. И было досадно: он писал! Кое-что за три недели он успел. Теперь снова пишет. Но зато из комнаты не выходит — боится опять слечь. 14-го мая, если все будет благополучно, мы тронемся на север.

В измученном Иване Алексеевиче жил его прежний творческий дух. Любил он по-прежнему общение с друзьями, живо всем интересовался. Чтобы частые посетители не очень его утомляли, решили назначить один день в неделю — «пусть лучше в один день вместе приходят!» Но все же гостей с сентября стало слишком много, и тогда назначили приемные дни: первый и третий четверг каждого месяца. Иногда бывало

больше 20 человек. Это утомляло, но и очень радовало И. А. А 12 сентября 1949 г., после такого приема, В. Н. писала: «Князь все задыхается, мучается бедный очень».

Как и раньше, Олечка вносила с собой «луч солнца» в грустную атмосферу бунинской квартиры, где тяжело больной писатель всеми силами боролся с недугом. Болезни не оставляли его.

В августе 1950 г. И. А. опасно заболел, и в начале сентября его оперировал профессор Дюфур.

У нас грозные события, — писала В. Н. 2 октября, — после вашего отъезда Яна оперировали... Вернулись мы домой 20-го сентября. Медленно поправляется. Еще слаб. За ним хорошо ухаживает Левя. Надо, чтобы Ян хоть немного окреп и пополнил; он худ, как голодающий индус.

...Мы надеемся, что князь окрепнет ко дню своего восьмидесятилетия, которое будет ровно через три недели, т. е. 23-го октября.

Опять тяжкая болезнь И. А. в конце 1950 и начале 1951 года. «Мы совсем впали в нищету за три недели моего плеврита. Как ухитрился я поймать этот плеврит, не выходя из комнаты?!» — удивлялся он. Дом Буниных оставался открытым: несмотря на болезнь, на безденежье, они продолжали живо интересоваться писателями, их судьбой, и никогда не замыкались в свои личные интересы. Я думаю, другого такого «писательского дома» в Париже не было. «Центро-помощь» сказал кто-то. И это было действительно так. Никто не уходил из этого дома «пустым». Все что-то получали, если не материальную поддержку, то совет, или ободрение, или просто симпатию. Если В. Н. была «душой» этой «центро-помощи», то И. А. ее в этом всегда одобрял, поддерживал, поощрял. Если доброта В. Н. была «активной», то несомненная доброта И. А. была почвой, необходимой для ее деятельности. Про его доброту знала она одна! И. А. ее тщательно скрывал, нигде никогда не афишировал, не терпел никаких благодарностей. Всегда выставлял он вперед В. Н. как зачинщицу. Я заметила, что И. А. особенно благожелательно относился к людям, любящим В. Н. Он хотел, чтобы ее любили и ценили, и не потерпел бы, если бы ее чем-нибудь обидели!

Несомненно, что В. Н. была «зачинщицей» празднования окончания гимназии Олечкой у них на квартире. «Она у нас праздновала свое окончание», — писала мне В. Н. 15 августа 1951 г. — Был приглашен весь класс! Грамофон гремел с пяти до одиннадцати вечера. Все были счастливы и плясали до усталости! Кто еще, какой другой очень больной и пожилой писатель мог бы вытерпеть в своей маленькой квартире в течение шести часов топот молодых ног и беспрерывный грамофонный джаз? Но И. А., измученный тяжелой болезнью, был способен пожертвовать своим покоем для того, чтобы доставить радость Олечке, и терпение его было безмерно!

Я думаю, для будущих биографов очень важно знать и такие мелкие факты, чтобы правильно осветить личность Бунина, очень сложную, порой созданную из противоречий.

Иногда краткие улучшения между повторными воспалениями легких, кровотечениями, припадками сердечной астмы позволяли Бунину «по мере его уже очень слабых сил» опять браться за перо и приводить «в порядок его писания». По-прежнему голова его была ясной и так же требователен был он к себе как художник.

Годы шли. Состояние И. А. становилось все безнадежнее. Теперь боролся он, напрягая последние силы, уже не с болезнями, а со смертью. Вспоминались мне его слова, сказанные в день первой его беседы со мной: «Ни за что не дамся смерти! Не сможет меня взять...»

Непреклонная воля жить и творить не давала смерти «взять его». Истинно «дух животворил», и нужно было ему пройти еще через испытания, чтобы примириться с мыслью о смерти.

Настал 1953 год, последний для Бунина.

3 ноября В. Н. писала мне (привожу опять только выдержку):

...А тут болезнь князя, сначала воспаление в левом легком, а затем оказалось, что у него малокровие: 50 процентов гемоглобину, всего 2 600 000 красных шариков при мочеvine в крови 56. Слаб, апатичен, полная потеря аппетита. Меня не отпускает даже из комнаты. Лекарства принимает с «большими слезами». Я еще не падаю духом, но временами бывает тяжело...

Несмотря на то, что Бунин был очень, очень слаб и часто говорил о смерти, В. Н. усилием воли держалась и не верила в его близкую кончину.

О смерти Ивана Алексеевича ночью 8 ноября узнала я в Лионе на следующий день. Все случилось так, как это предвидела В. Н.: «Князь будет умирать только со мной».

В квартире была она одна с И. А. Вечером Бунин задыхался, но все же просил прочесть ему вслух письма Чехова, он живо интересовался датой рождения Антона Павловича. До последней минуты голова его была ясной... В измученном теле душа оставалась творческой. До последней минуты был он писателем.

В полночь ему стало совсем плохо, пульса не было, голова его склонилась, и без всякой агонии наступила смерть.

В письме к одному из знакомых Вера Николаевна прекрасно описала ту любовь, с которой парижане простились с Буниным, и сочувствие, которое выразили ей в «ее вечном горе»:

Все, с кем в эти тяжелые дни я общалась, проявили такую любовь и заботу ко мне, что я до гроба донесу восхищенную к ним благодарность. Каждый делал, что мог, и все лучшее в своей душе проявлял ко мне. Вообще атмосфера всех этих пяти дней была необыкновенно легкая. Не удивляйтесь, я думаю потому, что все было насыщено одним чувством скорбной любви. Я чувствовала, что все в горе, а не только жалеют меня и сочувствуют мне. Трогала меня и та любовь, которая относилась к Яну как к человеку и писателю, а главное та простота, которая всеми чувствовалась, никакой не было фальши... И несмотря на горе, в моей душе останется навсегда чувство несказанной радости от того, что я увидела от людей...

Я тотчас написала Вере Николаевне. Послала ей несколько писем и в тревоге ждала ответа.

...Спасибо за ваши письма, — писала она мне 23 ноября. — Трудно привыкнуть, что его живого нет. Я не могу плакать, а потому, вероятно, еще труднее, тяжелее. Похудела, по утрам чувствую себя разбитой — сейчас жду доктора. Мне еще нужно жить — и для приведения дел Яна в порядок, и для увековечения его памяти.

...Живу я в кабинете, где жил и скончался Ян. На письменном столе, на камине, на стенах его портреты — не нагляжусь...

Ничто не могло сломить сильный дух Веры Николаевны. На восемь долгих лет пережила она Ивана Алексеевича. Эти годы были посвящены увековечению его памяти, устройству бунинских вечеров, переписке, постоянной помощи нуждающимся литераторам, заботой о Зурове, Олечке, Ляле.

Беспрерывно работала она над книгой «Жизнь Бунина», над своими воспоминаниями, «беседовала с памятью», как она говорила.

Переписка наша и краткие свидания в Париже продолжались. В каждом письме В. Н. вспоминает Ивана Алексеевича:

Двадцать третьего апреля, сорок восемь лет тому назад, отправились мы в путь вместе, а теперь я одна. Две недели тому назад был вечер «князя». Все довольны, а мне было тяжело, хотя атмосфера была на редкость дружеская...

Вот уж третья пасха, что я без него, сорок шесть пасок были вместе. Недавно видела его во сне. Испытала радость, а проснувшись, поняв, что его нет, почувствовала лютую тоску...

В день ее именин, который так любил И. А., она едет к нему на кладбище:

Там сидела у могилы. Был несказанно прелестный осенний вечер, но деревья еще зеленые. Лето прошло, но его, собственно, «не было». Я просидела безвыездно на «Яшкинской улице», и было хорошо.

В. Н. без усталости работала над своей книгой о Бунине. 3 октября 1958 г. она писала:

Книгу обещают печатать, но можно ли верить? Не знаю. Пытка ожиданием надоела, но она учит терпению...

Но «пытка ожиданием» кончилась, и В. Н. пережила большую радость: в октябре вышла в свет «Жизнь Бунина». Я получила книгу в день рождения И. А. с надписью: «23 октября 1958. Моему дорогому Корси на память о нем и наших днях в Грассе. Автор Ника».

Последнюю открытку от Веры Николаевны получила я ровно за месяц до ее кончины. 3 марта 1961 г. она спрашивала:

...Будете ли весной в Париже, где тепло? Я сегодня надела свой серый костюм. Распускаются деревья. Небо безоблачное, синее... Пишу письма и «беседую с памятью», но мало. Слишком много всяких мелких — и хозяйственных, и общественных, и чужих дел, — и сил не хватает, а хочется только «беседовать»...

В этих строках вся Вера Николаевна. Жизнь ее была по-прежнему наполнена им, памятью о нем, но никогда не замыкалась она в свое личное, а принадлежала всем, кто в ней нуждался.

«Только сил не хватает», — писала она. Сил, действительно, не хватало. Все знали о слабом ее здоровье, о том, что страдала она белокровием, постоянно лечилась, но никто не думал, что так неожиданно скоро придет смерть. Для многих это был жестокий удар. Какой-то свет погас, когда, после непродолжительной болезни, третьего апреля 1961 г. она скончалась.

Хорошо написано в некрологе, напечатанном через несколько дней после похорон, о ее неутомимой, неистощимой отзывчивости, о ее простоте, о ее доброте, о том «свете», который исходил от всего ее облика: «Не всем писателям посчастливилось найти в супружестве такого друга!» И дальше рассказывается о том, как бесконечно был Бунин благодарен своей жене, которую ценил «свыше всякой меры»: «Обо всем этом будет когда-нибудь рассказано обстоятельно. Прекрасный, простой и чистый образ Веры Николаевны встанет тогда во весь рост!»

Скоро исполнится пятнадцать лет со дня смерти Ивана Алексеевича, и кажется мне порой, что самое «исключительное произведение Бунина» — это его собственная жизнь: горячая, бурная, страстная, как грохочущий весенний поток, вся проникнутая и движимая «стихийными силами» и верою в «конечную победу добра».

Верной спутницей этого стремительного, ни на кого не похожего человека, была до конца его жизни «мудрым сердцем» все знавшая Вера Николаевна.

Февраль—апрель 1968 г.

«Карамзино» (Сен-Жак, Приморские Альпы)

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ «Петух на церковном кресте...» — Собр. соч. 1965—1967, т. 8, стр. 18.

² «Сон» — там же, т. 1, стр. 393—394.

³ «Этой краткой жизни вечным измененьем...» — там же, стр. 450.

⁴ «Мы рядом шли, но на меня...» — там же, стр. 447.

⁵ «Как в апреле по ночам в аллее...» — там же, стр. 451.

⁶ «Памяти друга» — там же, стр. 425.

⁷ Рудольф Штейнер (1861—1925) — основатель так называемой антропософии. Развитие человечества Штейнер представлял себе как смену «культурных циклов», которых насчитывал пять: праиндийский, праперсидский, египетский, греко-романский, западноевропейский; в следующем, шестом цикле ведущая роль, по его учению, должна будет перейти к славянству во главе с Россией.

⁸ О знакомстве Бунина с А. Жидом и его отношениях с ним см. в настоящ. книге сообщение Т. Л. Могылевой «Бунин в споре с Андре Жидом».

⁹ Выражение из рассказа «Капитал». — Собр. соч. 1965—1967, т. 5, стр. 444.